

III.

О НЕМ написано теперь больше, чем написал он сам. Самоуверенный и растерянный. Неприступно-настороженный и легковверный. Эгоистичный и отзвучивый. Агрессивно-злой и кроткий. В высшей степени обаятельный и совершенно невыносимый для окружающих.

И почти всегда — беспомощный. Говоря о его пороках и достоинствах, нужно отделять житейское от жизненного. Когда в первый же санаторный день к нему подходит вальяжный летчик в форме, со свитой: «Не прочтете ли что-нибудь?», и поэт отвечает: «А если я попрошу вас сейчас полетать?» — раздраженно объяснив, что стихи — работа для него, а не развлечение (вечер был для всех испорчен) — это все житейское.

Мандельштам никогда не был близок с Блоком, но, узнав о его смерти, он, по словам Одоевцевой, плакал по нему, «как по родному». В августе 21-го, в связи со смертью Блока, Мандельштам прочитал о нем доклад в Батуми; 7 февраля 1922 г. выступил на вечер памяти Блока в Харькове; в 1935 г. для Воронежского радио подготовил передачу о Блоке. Эти поступки многого стоят, ибо Блок был первой жертвой Советской власти. Болезнь точила его более года, но, несмотря на хлопоты Луначарского и Горького, его не выпустили лечиться за границу. Разрешение на выезд пришло через час после смерти.

Полмесяца спустя был расстрелян Николай Гумилев. В августе 1928 года, в годовщину гибели Гумилева, Мандельштам из Крыма написал Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не превращалась и никогда не превратится».

В Воронеж Мандельштам заставил прочесть доклад об акмеизме, организаторы надеялись, что загнивший поэт отступится от друзей. Год — 1937-й, шанс ухватиться за соломинку был. Но Мандельштам сказал: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых».

Как сказала Ахматова, это «не должно быть забыто». Поэт достоин, по чести, отдавать дань ушедшим, дань времени, изничтоженному, не сохранившему даже афиш, на которых их имена стояли рядом — Блок, Гумилев, Мандельштам.

В последние три года его жизни — период кровавых сталинских чисток — набрали силу единодушные резолюции советских писателей, они стали обычным делом. Вот примеры 1936—1938 годов. «Смерть врагам народа!» — редколлегия «Литературной газеты»; «Их судит весь советский народ!» — Михаил Слонимский, Александр Прокофьев, Алексей Толстой, Борис Лаврентев, Евгений Шварц; «Смерть врагам народа!» — Всеволод Иванов; «Не может быть пощады!» — Юрий Тынянов; «Маски сорваны!» — А. Новиков-Прибой; «Смерть бандита!» — резолюция митинга советских писателей Киева; «Отрубите голову!» — Б. Лаврентев.

Ни в одной карательной резолюции нет подписи Мандельштама. И это тоже не должно быть забыто. Единственное коллективное письмо, которое он подписал в 1924 году вместе с Есениным, Пильником, Бабелем, Волошиным, Зощенко, Кавериним и другими, — решительный протест в отдел печати ЦК РКП (б) против оглушительного нападения на писателей: «...Такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции».

Эти черты бесмертны, они соединяют Поэта и Личность.

ПОСЛЕ приговора ОСО Мандельштам перевели в Бутырскую тюрьму, там формировали эшелоны в лагерь, которые уже покрывали страну густой сетью, — Свитлаг, Сиблаг, Бамлаг, Норильлаг, Вяземлаг, Ухто-Печерский лагерь, ББК (Беломоро-Балтийский канал)... В несконченной очереди ожидал своей участи Осип Эмильевич, и в ожидании этого провел в Бутырях более месяца.

Бутырки — не Лубянка. Там он был подследственный, здесь — осужденный, там — еще невиновный, здесь — враг. Там в одно-, двухместной камере был у него постель, висели на дверях правила внутреннего содержания: запрещается, предостерегается, имеет право. Заварной чай утром и вечером. Даже имел запах. Каши и супы — сносные для неработающего. Вполне добротный туалет в углу — закрылся. Выдавали туалетную бумагу. В Бутырях же, в общей переполненной ка-

мере сидело человек триста. Нар было немного, и на них располагались те, кто выходил из камеры смертников, остальные тесно, спиной друг к другу, сидели на каменном полу. Новички — у параша, круглой высокой бочки ведер на 40. Уводили-приводили, очередь передвигалась, но шуплого беззащитного поэта вполне могли держать у параша сколько угодно. Старались ходить на оправку ночью, но прихватывало и среди дня, устраивались у всех на виду под улюлюканье и ржание камеры.

Все же от тюрьмы к тюрьме и в зону переход был, можно сказать, постепенным, поэтому сердце не остановилось до срока. «Он (Мандельштам. — Авт.) совсем седой, страдает сердцем... Ходить не может — боится припадать, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво». (Из дневника Ю. Слезкина).

«Осип плохо дышал, ловил воздух губами» (Анна Ахматова).

шесть лежачих мест. На платформе стояли братья — Женя и Шура. Как он был счастлив тогда!.. Он прижмался к оконному стеклу: «Это чудо!».

Разве не чудо, его могли расстрелять, а он жив и почти свободен. Старший конвоир, тоже Осип, добрый парень, глядя на взволнованного сырьного, говорил Надежде Яковлевне: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают. Вот в буржуазных странах...» Она дала ему томик Пушкина, Осипа читал вслух рассказы старого цыгана и сокрушался: «Вот как римские цари обижали стариков». Он нарушил инструкцию, потихоньку сообщая, что едут в Челябинск и там климат хороший. Осипа заставлял конвоиров тащить вещи сывальных, а в Соликамске, перед пересадкой на паром, шепнул Надежде, чтобы взяла за свой счет катушку: «Пусть твой отдохнет». Конвоир он в каюту не пускал.

Тогда преследуемый поэт отправлялся в ссылку человеком,

бойницы, мощные стволы: моряки, они охраняли побережье. А может, и нас тоже, не знаю. У нас была своя охрана — на вышках.

Юрий Илларионович Моисеенко — нечаянный свидетель. После 12 лет тюрем и лагерей он до сих пор не разогнулся и ни разу не обмолвился о прошлом — ни с женой, ни с детьми. Год назад прочел в газетах столетнем юбилее Мандельштама, снова всплыл в памяти блаженный жалкий старик, который «жил внутри себя» и которого называли «поэт». Не сразу, но все же решился Моисеенко написать о его смерти в «Известия».

Мы сидим с Юрием Илларионовичем в маленьком гостиничном номере в Сопиничах—Могилевская область. Пенсионер, сторож «Сельхозтехники». Застенчивый, робкий. Едва начал отбывать тогда первый срок — 5 лет, как получил новый — 10.

Та же колея вела его, те же сопровождали птицы — с разницей в два дня.

— Ковалев тянулся к Осипу Эмильевичу, а тот больше общался с Ляхом. Лях — эрудир. Осип Эмильевич ко всем относился почтительно, но к Ляху обращался — «Володя, вы...», а к Ковалеву — «Иван Никитич, ты...» Мы Мандельштама звали по имени-отчеству, на «вы». За глаза попроще — «Эмильевич». Кто-то из новичков спросил его, как правильно — Осип или Иосиф? Он говорил так — вразбегу: «Называйте меня Осип Эмильевич». И через паузу добавил: «А дома меня звали О-ся». И улыбнулся на этот ласковый звук, и мы все засмеялись.

Остальные тоже кучковались по разным признакам. Старые большевики держались скромно, некоторые в значительной и шапка, видимо, приехали еще весной. Молодые партийцы вели себя уверенно, ходили с развешенной грудью, были грубы и нахальны. С престономардем ни те, ни другие не общались. Торговые работники — тоже развязные. Священники греческой

сто. Какой-то немец спрашивал: «Кто из Саратова?» Царский артиллерист рассказывал, как в гражданскую расстреливали Днепровскую флотилию. Молодые парторботники вели важные беседы. «Скоро должен быть пленум ЦК комсомола. Косарева уберут, назначат Михайлова». Не было ни газет, ни радио — никакой информации, но бывшие чиновники оказывались в курсе событий, даже предстоящих. «Скоро будет решение, в честь Ежова — Берия...» Новости порождали надежды. Народ попроще обсуждал дела челюскинцев. Прохаживались вдвоем хорошо одетые пожилые ученые-астрономы, словно для них стояли такие звездные вечера.

В десять часов подвешенная к столбу рельса звонила отбой — с ревом, как будто железно вали на куски.

После отбоя разговор в бараке продолжался — тихо, вполголоса. Я дал прочесть Моисеенко лагерные воспоминания о Мандельштаме разных людей, смутные рассказы, крайности, в которых тесно соседствовали романтика и жестокость.

— Нет, его не били, неправда, в нашей зоне блатных не было. Ну, может быть, на одну ночь иногда эшелон придет из Ростова или Харькова, а у нас места свободные: этапы же уходили один за другим — на Колыму. Ну, конечно, народ разный... Это при мне было — троестоят, один парень курил и так зло сказал Осипу Эмильевичу: «Заткнись ты!» Иногда останавливается около кого-то: «Вали-вали отсюда». Это было в холоду. Тут еще, знаете, и антисемитские настроения: «У тебя кто следователь был? И у меня — еврей». «Жидовство власть взяли». А начальство, административная лагеря — не знаю, удобно ли говорить? — из евреев в основном. В бараке в спину ему говорили: «Доходяга пошел». Но Ковалев их остепенял: «Что вы, хлопцы, кого вы обижаете?» Вот кто дожимал, покаяние ему не давал, так это Левый Гарбуз — старший барака. Это, наверное, кличка была, а не фамилия*. Хват. У него было и мыло, и сахар, и хлеб — черный и белый. Он охотился за теми, кто недавно с этапа, у кого вещи незаконные. Выменявал. Мат, оскорбления. Он у Осипа Эмильевича желтое кожаное пальто хотел выманить: «Сдохнешь — все пропадет, по нам оботрешь, а так выгоды и чить будешь». Однажды Левка начал разговор в бараке, а потом вывел Осипа Эмильевича за дверь. В другой раз с нар поднял, к себе позвал. Я спросил Мандельштама, что тому надо. «Ай», — говорит, — коммерсант». Парень крепкий, у него свои шестерки были. В середине ноября исчез, видимо, на Колыму отправили, и старшим стал Норонович, бывший секретарь крайкома, он еще с Эйхе работал, исключительно порядочный.

В единственном письме из лагеря Мандельштам написал: «Последние дни ходили на работу...»

В пересылке на работу не гоняли. Ну, какая это работа — двор прибрать. Раз или два он выходил, взял метлу на палке, это неутоительно, гнутья не надо. У него настроение поднялось, вроде не хуже других. Еще — дневальцы у бочки с водой. Трудно было с водой, колонка далеко, за лагерь, воду привозили на лошадах. Этот водный морж хуже голода. Хуже работа, в рабстве можно хоть что-то заработать. Воду стерегли, молодые особенно не подпускали, с руганью отгоняли. Ну и Осипу Эмильевичу выпало дежурить. Ну, как он стерег... Кто-то постарше его подводит: «Водички разрешите». Он отворачивался и отходил в сторону, и люди наливали... Я сижу на нарах и все вижу. До завтра выносили на просушку парашу во двор — двое несли, на палке. Но до Осипа Эмильевича очередь не дошла, да он и не поднял бы, Ковалев бы за него вынес.

БЫЛИ еще ночные работы — «добровольно» — принудительные. После ужина в бараке приходил лагерный захвост Омелянчук, вызывал старшего: «Шесть хлопцев давай мне покрепче». Норонович обходит нары: «Собирайся, сходишь... Пайку заработаешь». Соглашались. Молодым, здоровым, почему для разнообразия не выпарывать за зону, там у конвоиров можно новости узнать, подкормиться у них остатками сала, консервов. Там они копали большие воронки. Им не говорили для чего, но они понимали. Ярдом было множество таких же воронки, но уже закопанных. Возвращались под утро. О том, чем занимались, не рассказывали, видимо, был запрет, но в бараке обо всем догадывались. Определенных ночей не было, вначале уходили пореже, потом чаще.

Но Мандельштам на такие работы, конечно, не брали — в ночь, под конвоем, он бы и не дошел. Он был не из тех, кто копал, а из тех, для кого копали.

* Речь об эстрадном чечеточнике из Одессы Льева Томчинине.

С М Е Р Т Ь ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Эд. ПОЛЯНОВСКИЙ, «Известия»

Таких он был перед вторым арестом, таким, если не хуже, погружали его в шелон.

Лев Николаевич Гумилев рассказал мне, как несколько месяцев жил в Москве у Мандельштама: «Это был безумно не приспособленный к жизни человек. Он не знал, как пройти по Москве, куда ехать, куда идти, путался в трамваях даже возле дома».

Слепой, безрукий, он отбыл в неизвестность, в бесконечность, ни с кем не простившись, даже с Надеждой. Не вернув частные мелкие долги и не получив единственного долга от государства — право жить по своему странному неразумению и писать возложенное на него Богом. Смерть еще подождет почти четыре месяца, но для всех он уже как бы растворился, растялся и стал воспоминанием — добрым, дурным, печальным.

ТОВАРНЫЙ состав был подан на задворки Северного вокзала. Утром из тюрьмы доставили заключенных, все — по 58-й статье. Стриженный народ, легко одетый, занимал места на неструганных досках. Летнее пальто, шляпы, свитеры, костюмы — некоторые были одеты даже красиво, но в потертом, помятом, несвежем.

Уже стемнело, и была тишина, когда состав тронулся. Так и двинулся, крадучись, — по ночам, днем прячась в тупиках. Начиналась вторая неделя сентября, погода стояла сухая, для всех хорошая. Средняя Россия провозила их — реки, озера и опушки, березы, тополя и вербы. Опали листья, проступала в природе печаль, с каждым днем все более: Москва — Ярославль — Ковров — Вятка... В палисадниках удаляли цветы. Синее небо и чистый горизонт, и вся безоблачная бесконечность были в тягость, и реки в тягость, и яркое солнце, и вся безупречная природа. Был бы дождь — еще хуже, лежали бы, как вошки. Никакой хорошей погоды для них не существовало. Города в средней России рядом, и в первые ночи эшелон часто останавливался, охрана простуживала снизу полы колотушками, нет ли надруса. Побылости всегда был какой-нибудь рабочий поселок, протекала мимо, не касаясь, чужое вольное житье-бытье, слышался его отголоски — обрывки разговоров, смех, песни.

Птицы, вот кто верно сопровождал их на всем пути. Утром, на запасных путях, в тишине, пение птиц звучало громко и чисто. Они были где-то рядом, вокруг — на шалахах, на крыше вагона. В такие минуты люди забывали, что едут не домой, выщипывали драгоценные пайки и бросали крошки птицам, чтобы увидеть их.

Еще сопровождали их, так же верно, повсюду — портреты Сталина, на всех пристанционных постройках. Так они ехали, по обе стороны гребельной колеи отгораживала их от остального мира, от уходящей из-под ног земли — полоса отчуждения. Обычные железнодорожные технические нормы с названием — как раз для этапа.

Где-то после Вятки по утру стал появляться иней — на траве, на крышах железнодорожных будок. За Уралом похолодало. Снежился, друг к другу прижмешься — жить можно. Вот когда Осипу Эмильевичу впервые по-настоящему пригодилось желтое кожаное пальто — подарок Эрэнбурга.

НЕ ОДИН раз за долгий этот путь, более месяца, вспоминал он свою первую ссылку. Бесплатный билет для Надежды, бесплатные носильщики, вежливые проводники в штатском, который взял под козырек и пожелал счастливого пути. В советскую ссылку так никого никогда не отправляли. Пассажирский вагон, они с Надеждой и тремя конвоирами заняли

теперь — грузом. Надежда Мандельштам точно обозначила граждан без обличья, следующих транзитом через всю страну.

«Люди, для которых остановилось время, а пространство стало вагоном, набитым до отказа человеческим подумергиванием, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, зануменным и застемпленным, переправляющимся по накладным в черное небытие лагерей».

Лагерь был уже близко. Уже европейские речи и речушки давно сменили могучие сибирские реки, уже обступали все теснее скалы и горы, ели и сосны — темная зелень почти затгивала человеческий груз. После Хабаровска ступился туман. Ранним холодным утром на маленькой станции пронесли на носилках два трупа, закрытых с головы. В конце пути, как видения рая перед смертью, отворились красивые места — дачные пригороды с уютными домиками и акациями, молодая дубовая роща. Среди сопкок распахнулся огромный залив. Появился высокий дом с вывеской «Санаторий морского флота».

На краю земли — эшелон остановился. 12 октября 1938 года. Последний тупик под названием «19-й километр».

Был день, часа три-четыре. Возле состава появилось много людей в форме НКВД, начальник конвоя дал команду выходить из вагона и строиться по пятеркам.

Заклоченные ступили на каменистую землю. — Партия, внимание! Вы прибыли в город Владивосток. В пути следования никаких разговоров. Шаг вправо, шаг влево... — А где обед? — В лагере накормят.

Измученный народ в сопровождении овчарок двинулся в путь. Черная змея растянулась далеко, первые уже уходили в сопки, а последние еще стояли. Задние овчарки, подгоняя, лаляли громко и надсадно. Жались к сопкам деревянные дома. Прохожие рассматривали стриженных усталых людей с любопытством и тревогой.

В лагерные ворота запускали по одному. У входа на улице стояли столы, две молодые женщины, вольнонаемные, выкрикивали по алфавиту заключенных: «Фамилия? Год рождения? Статус? Кем осужден?» Процедура шла утомительно медленно. Старик из задних рядов едва плелся к столикам, их подгоняли.

Большой, задыхающийся Мандельштам переступал едва-едва, на него орал и заключенные, и лагерное начальство. Впустили всех где-то к 8 вечера. Старшие баракос объявили свободные места.

Осип Эмильевич оказался в 11-м.

ПРЕКРАСНАЯ была осень 38-го года, более чем за месяц пути не выпало, кажется, ни капли дождя.

ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ лагерь 3/10 УСВИТЛАГа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей) являлся перевалочной базой, отсюда, после сортировки, слабых и беспомощных отправляли в маринские лагеря, остальных — морем на Колыму. Около 15 тысяч заключенных ожидали участи: в первой зоне — уголовники, отменно — женская зона, затем «китайская» (3 тысячи рабочих и служащих КВЖД) и, наконец, — «контрики».

Зону «контры» замыкал как раз 11-й барак. — За нами шла вплотную выскокая сотка, за ней форт —

— Я прибыл 14 октября. В Покров. Барак человек на триста, даже больше, нары — по обеим сторонам, сплошные. Парнишка, блондинчик, хлопнул по плечу: «С этапа? Давай к нам на третий ярус». Покоормили нас прямо во дворе, уже был вечер. Я спросил Ваню Великина, который меня позвал, кто это с ним рядом. Там старик лежал. Ваня говорит: «А-а, это с Ленинграда».

На другое утро ели на нарах, и старик сидел — в рубашке, в брюках. Очень худой. Мешки под глазами. Лицо мелковатое такое. Лоб высокий. Нос выделялся. Глаза красивые, ясные. Рубашка в крапинку ему очень шла. Он причесал немножко голову — вот так, рукой провел и спросил меня: «Молодой человек, откуда вы прибыли?» «Из Смоленска». — «А как же зовут вас?» — «Юрий». — «Будем знакомы. А много вас приехало?» — «Много». — «58-я?» — «Да». — «Ну это, как у нас у всех, никому не обидно».

С улыбкой сказал. Сам не представлялся. Когда узнал, что из Смоленска, интерес ко мне потерял.

Так я познакомился с Осипом Эмильевичем. Мне сказали — поэт. А я и не слышал никогда такого...

Тех поэтов, которых знать полагалось, Моисеенко знал еще в школе: прошлые — Пушкина и Лермонтова, современных — Маяковского и Есенина. Земляков — Якуба Коласа и Янку Купалу. Но впереди всех, впереди Пушкина, был Демьян Бедный, которого декламировала, пела, изучала вся страна. И ученик Юра Моисеенко дважды в год — 7 ноября и 1 мая — выходил на школьную сцену. Кроме Демьяна Бедного, звонко читал Безыменского: «Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь?» И голос скорбный мне ответил: «Партбилет».

— Я же был грамотный парень, русский язык соблюдал.

После школы узнал Городецкое, Светлова, Уткина, Асеева, Лугового, Кирсанова...

Но никогда, ни от кого не слышал он такой странной фамилии — Мандельштам. Тем не менее к соседу по нарам стал относиться с почтением, особенно когда узнал, что тот знаком с самим Эрэнбургом. Моисеенко даже знал, сколько у Эрэнбурга курительных трубок.

Юрий Илларионович — маленький, сжавшийся, в больших глазах, сильно увеличенных очками, — покорность, обиды.

— Я только в лагере узнал, что Бедный — не Бедный, а Придворов, — сказал так, словно был обанчут. Помолчал.

Мандельштам часто Ленинград вспоминал, и его в лагере многие ленинградцем считали. Он что же, жил там? — Он нигде не жил.

СОСЕДСТВОВАЛИ шестером. Справа от входа, в первой трети барака, на верхних нарах. Сначала шел Моисеенко. Рядом — Владимир Лях, ленинградец, его арестовали в геологической экспедиции, пытали в Крестках. За ним — Степан Моисеев, из Иркутской области, физически крепкий, но хромой. Рядом свои же, на охоте. Дальше — знакомый же Иван Белкин, шахтер из-под Курска, года 24 — ровесник Моисеенко. За ним — Мандельштам. И, наконец, — Иван Никитич Ковалев, пчеловод из Благовещенска. Смирный человек. Если и слушает кого — вопросов не задает. Пожалуй, чуть постарше Мандельштама.

церкви. Царские офицеры. Участники боев на Хасане.

Осип Эмильевич чувствовал себя чужим даже в нашей соседской среде. Духовного взаимопонимания же не было. Ну как мы ему единомышленники.

ПЕРЕСЫЛКА — место не самое жестокое, но гнилое, своей нужды в рабочей силе нет, сохранять некого и незачем.

Вместо шести поднимались в восьмом. Мандельштам — позже других, каждый раз садится на нарах, разглаживает рукава рубашки, застегивает пуговицы и кланяется соседям: — Доброе утро.

Бродят по бараку, курят у дверных щелей. Отпирают двери, но никто не расходится — ждут пайку. Подъезжала военная-полевая кухня, выстраивалась по бригадам очередь. Утром — хлеб и сахар-рафинад, два колотых кусочка, всегда казалось, что у другого больше. В обед — баланда с разваренными рыбными крошками и каша — перловка или соевая. Вечером — баланда. Утром и вечером — по кружке сырой воды. Недосоленную кашу съедал не каждый. Из очереди могли вытолкать партийного работника: «Вали отсюда, накомандовался», — и странно, но так же плохо относились к блохеровским командирам-дальневосточникам.

Нары — сплошные, на десять человек — один поручник. Осип Эмильевич хотел всегда первым, впереди других встать, а спускался медленно, все ждал, что будет недовольные, но лез. «Ну, я пошел». Мы ждали, а другие нас обгоняли. Но он смятчал это улыбой наивной. Ковалев стоит и помогает ему слезть — залезть. Если в пайке оказывалось меньше нормы, то сверху на деревянном штырьке закрепляли добавку. Он получал пайку, идет по дороге и рассматривает, не осталось ли наколки от штыря, не обманули ли. Другие тоже так, доведосека — это же жизнь была. Баланду поднесет ко рту — оставит с сочением, опять поднесет, попьет — у стороны. Мы все съедем, потом, после нас, — он. Отравы боялся? Не знаю, может быть, у него странности много было. ...Хлеб всегда оказывался вкусный. Или так казалось, потому что не хватало. Утапывали за один раз, а потом весь день жалелся. Главное, не смотреть на кусок, посмотрел — все, обязательно отщипнешь, еще и еще. Потом и Мандельштам научился, зачатыл хлеб в грязный носовой платок и прятал в изголовье, рядом с ботинками.

Перед едой предстояло испытание: единственный заместитель всех лекарств — настойка из пихты, смолисто-мыльная, на сырой воде. От нее стягивало десны и зубы, даже Моисеенко, крепкого сельского парня, поначалу мутило и рвало.

Позавтракали — болтаются по зоне. Пообедали — кто спит, кто бродит. Играли в самодельные, из хлеба, шахматы. Осип Эмильевич останавливался, безучастно смотрел на играющих, отдыхал на маленькой скамейке у входа в барак. Вечером, до отбоя, снова занимался нечем. Томился.

Вечера, впрочем, были самым милостивым временем. Косо били яркие прожектора, лагерь озарялся, но все равно и при свете головы поднимались — видны темно-синие небо и звезды. Почти все ночи стояли хорошие, звездные, смотришь на небо — мир так велик... И как будто ты не заключенный. День прожит — жив, и еще есть надежда на завтра.

На вечерних прогулках зароду полно, знакомился с парнями.